

# ГЕНЕАЛОГИЯ ФАНАТИЗМА. ЖЕЛАНИЕ И БОЯЗНЬ СЛАВЫ. АФОРИЗМЫ ИЗ КНИГИ «О НЕПРИЛИЧИИ БЫТЬ РОЖДЕННЫМ»

Э.М. Чьоран

## ГЕНЕАЛОГИЯ ФАНАТИЗМА

Всякая идея сама по себе является нейтральной или, по крайней мере, должна быть таковой; но человек одушевляет её, проецируя на неё свой внутренний огонь и свои бешеные страсти; инфицированная, преображенная в веру, она начинает расти во времени, принимает облик события, и переход от логики к эпилепсии можно считать завершённым... Так рождаются идеологии, доктрины и кровавые фарсы. Идолопоклонники по своему инстинкту, мы стремимся превратить предметы нашей мечты и нашего интереса в нечто безусловное. История — это парад фальшивых абсолютов, шествие храмов, возведённых под тем или иным предлогом, унижение духа перед Невероятным. Даже отдалившись от религии, человек, тем не менее, сохраняет свою приверженность к ней; утратив способность измышлять призраки богов, он лихорадочно начинает к ним приспособляться; потребность в фикции и в мифологии одерживает верх над очевидностью и насмешкой. Эта склонность к обожанию — источник всех его преступлений: кто безмерно любит бога, тот и других принуждает ему поклоняться, угрожая инакомыслящим поголовным истреблением. Нет такой нетерпимости, идеологической непримиримости или жажды единомыслия, которые не таили бы в себе оскала священного энтузиазма. Когда человек утрачивает свою склонность к равнодушию, то превращается в потенциального убийцу; когда он возводит свою идею в ранг божества, то последствие такого акта — совершенно непредсказуемы. Ведь убивают не иначе как во имя какого-либо нового бога или его земного заместителя: кровавые события, порождённые богом разума, идеей нации, класса или расы, — это родные братья эксцессов Инквизиции и Реформации. Эпохи страстного энтузиазма идут рука об руку с периодами кровавых подвигов: святая Тереза не могла не быть современницей аутодафе, а Лютер — свидетелем массового убийства крестьян. Стенания жертв сливаются с восторгом экстазов мистики, достигшей своей кульминации. Эшафоты, тюрьмы и застенки прорастают в тени этой потребности в вере, которая насквозь пропитала собой человеческий дух. Дьявол — просто бледная тень по сравнению с тем, кто владеет правдой, своей правдой. Мы не вполне справедливы к Неронам и Тибериям: это не они изобрели понятие еретик, они — всего-навсего мечтатели-извращенцы, развлекаясь убийствами. Настоящий преступник — это тот, кто учредил религиозную и политическую ортодоксию, кто установил различие между правоверными и раскольниковыми.



воли, в неспособности к квиетизму, в прометеевской мании величия расы, упорно отстаивающей чистоту своего идеала, который взрывается под тяжестью её убеждений, расы, находящей удовольствие в презрении к сомнению и лени — порокам более благородным, чем все её добродетели, — и в силу этого вступающей на путь гибели, на путь истории с её непристойной смесью банальности и апокалипсиса... Дух уверенности пропитывает собой всю Историю; упраздни его, и ты уничтожишь все вытекающие из него пагубные последствия и вновь обретешь себе рай. Что есть грехопадение, как не поиск правды и уверенность в её обладании,

страсть к догме и упоение догмой. Отсюда растет фанатизм — порок, прививающий человеку вкус к аффективности, пророчеству и террору, лирическая проказа, измельчающая и зачумляющая людские души, ввергающая их в состояние экзальтации и подчиняющая своей власти... От фанатизма ускользают лишь скептики (или лентяи вкупе с эстетам), ибо они ничего не предлагают, а потому они — подлинные благодетели человечества — разрушают предрассудки и обезвреживают безумие. Я чувствую себя гораздо спокойнее с Пирроном, чем в компании со святым Павлом, ибо мудрость тлена предпочтительнее разнузданной святости. В воспламенённом духе мы открываем зверя, замаскированного под свою жертву; никто ещё не выходил невредимым из когтистых лап пророка... Когда во имя неба, общественного блага или под каким-либо другим предлогом, он возвышает свой голос, то лучше отойдите от него; тиран вашего одиночества, он не простит вам, что вы находитесь по другую сторону его убеждений и восторгов, он и вас хотел бы заразить своей истерией, внушить вам собственное представление о добре и зле и, возложив на вас свою ответственность, окончательно поработить вашу волю. Существо, насквозь пропитанное верой и не вербующее себе сторонников, — редкий гость на этой земле, где одержимость спасением крадёт у жизни последний глоток воздуха. Оглянитесь только вокруг: повсюду кишат лярвы, сочиняющие свои проповеди; каждое учреждение претендует на особую миссию; у каждого муниципалитета, как и у каждого храма, имеются свои абсолюты; каждая администрация претендует на обладание собственным уставом — метафизикой по инструкции обезьян...; все просто из кожи рвутся вон, чтобы принести какую-нибудь пользу своему ближнему. Этого хотят даже нищие и безнадежно больные: все мостовые и госпитали мира заполнены реформаторами. Жажда быть генератором событий, — этот род проклятия, эта патология — охватила сегодня всех и вся. Что такое общество как не ад спасителей. Тот, кого Диоген тщетно искал с фонарем, был никто другой как равнодушный...

Достаточно мне услышать, как некий господин разглагольствует об идеале, о грядущем, о философии,

достаточно мне почувствовать непоколебимо-уверенный тон, с каким он произносит слово «мы», имея в виду других и рассматривая себя в качестве их глашатая, чтобы зачислить его в разряд своих врагов. Я не могу не видеть в нём неудавшегося тирана, едва ли не палача, такого же отвратительного, как и настоящие тираны и палачи. Ведь всякая вера — это разновидность террора, внушающая тем больший страх, чем более «чистыми» являются её адепты. Мошенники, плуты и проходимцы нам не по душе, но мы не можем вменить им в вину ни одного большого исторического преступления; будучи вне веры, они не склонны копаться в ваших душах или выворачивать наизнанку ваши заветные мысли; они равнодушны к угрызениям вашей совести, отчаянию или душевным терзаниям; человечество обязано им теми немногими моментами благополучия, которые нам известны из истории; они-то и спасают народ, который фанатики подвергают пыткам, а «идеалисты» ввергают в катастрофы. Их учения не содержат в себе ничего, кроме выгоды или удовольствия — пороков приспособленцев, в тысячу раз более терпимых, чем деспотизм принципов, ибо всё зло жизни проистекает из «концепции жизни». Настоящему политике следовало бы углубиться в изучение античных софистов, взять уроки пеня или обучиться искусству давать взятку...

Фанатик неподкупен; если он убивает за идею, то готов и отдать за неё свою жизнь; тиран и мученик, в обеих ипостасях он — чудовище. Нет существ более опасных, чем мученики веры: великие гонители инакомыслящих, как правило, рекрутируются из числа праведников, которым в своё время не отрубили голову. Неспособное уменьшить жажду спасения, страдание лишь её разжигает; поэтому дух чувствует себя уютнее в обществе фанфарона, нежели в компании великомученика; ничто так не отталкивает, как спектакль, в котором умирают за идею... Пресыщенный возвышенными идеалами и нескончаемой бойней дух человеческий мечтает о провинциальной скуке, возведенной в мировой масштаб, он мечтает об Истории, в которой застой был бы таких размеров, что сомнение предстало бы великим событием, а надежда — катастрофой...

### ЖЕЛАНИЕ И БОЯЗНЬ СЛАВЫ

Если бы каждый человек получил возможность исповедаться в самом тайном своём желании, истопники всех его предприятий и проектов, то он мог бы сказать: «я хочу, чтобы меня похвалили». Никто, однако, не решается на это, ибо считается меньшим позором совершить какую-либо гнусность, чем признаться в этой унижительной слабости, вытекающей из чувства одиночества и беспомощности, которому подвержены все мы; и отверженные, и преуспевающие. Никто не обладает чувством уверенности в том, что он собой представляет и в чем состоит его ценность. Как бы велики ни были наши заслуги, нас мучает беспокойство, и чтобы его как-то заглушить, мы выпрашиваем лесть у кого попало или кланчим одобрения у первого прохожего. Наблюдательный человек не может не уловить просительного оттенка во взоре того, кто закончил своё дело, завершил произведение или просто продвинулся в своей работе. Эта слабость не знает исключений, и если господь бог не был ей подвержен, то только потому, что, завершив своё деяние, ему не от кого было (из-за отсутствия зрителей) ожидать похвал. Но даже и он в конце каждого трудового дня предавался самовосхвалению.

Поскольку каждый человек стремится опередить других, чтобы среди них как-то выделиться, то его примитивному предку было уже ведомо смутное желание затмить собой зверей, утвердиться за их счёт, дабы набить себе цену. В результате

произошло нарушение равновесия в жизненной экономике человека, и это послужило импульсом для амбиции и энергии, породивших, в свою очередь, конкуренцию со всеми живыми существами, а, в конечном счете, и со своими сородичами; именно это безумие соревнования, доведенное до самых крайних пределов, и составляет чистое определение человека. Только он один, находясь в естественном состоянии, возжелал важности, только он один среди всех других животных возненавидел безвестность и захотел от неё избавиться. Быть значимым — была и остается самой заветной его мечтой... Трудно поверить в то, что он жертвовал раем ради простого желания вкусить добра и зла; напротив, легко себе вообразить, что он поставил на карту всё ради того, чтобы быть кем-то. Внесём поправку в библейское Бытие: если человек утратил свою первоначальную невинность, то сделал он это не во имя познания, а ради славы. Отведав запретного плода, он тут же перешел на сторону дьявола. Как в своих истоках, так и по формам своего проявления, слава — это дьявольское изобретение. Ведь это по её вине самый одарённый из ангелов закончил свою карьеру авантюристом, а самый большой святой превратился в фигляра. Кто однажды отведал её вкуса, тот уже никогда не сможет его позабыть; он не отступит ни перед какой низостью или подлостью, чтобы находиться в её окрестностях. Если нельзя спасти свою душу, то надо попытаться хотя бы спасти своё имя. Узурпатор, добившийся привилегированного положения в обществе, разве он мог бы это сделать без всякого на то усилия, без страсти или без скандала? Если подобная одержимость была бы присуща животному, то каким бы примитивным ни было, оно одним махом перескочило бы через все недостающие ему этапы эволюции и достигло бы ступени человека.

Что произойдёт, если человек утратит желание славы? Наверняка исчезнет терзающее его беспокойство, которое побуждает его к деятельности, самоутверждению, выходению за собственные пределы. Если всё это исчезнет, то человек будет довольствоваться тем, что он собой представляет и снова вернется в границы, превзойдённые его волей к превосходству и его титанической одержимостью. Если он перестанет быть подданным царства змеи, то в нём и следа не останется от бывшего искушения, от того клейма, которое и делает его отличным от всех других земных тварей. Но будет ли он тогда человеком? В лучшем случае он превратится в растение, наделённое сознанием. Когда теологи отождествляют бога с чистым духом, то, тем самым, они демонстрируют свое незнание процесса творения и деятельности в целом. Дух не способен к созиданию; он создает проекты, но для их осуществления требуется нечистая сила, которую он должен привести в движение. Сам по себе Дух не имеет силы. Он способен обрести её только тогда, когда его сдает двусмысленная жажда или томит какой-либо нечистый импульс. Чем более сомнительна обуревающая его страсть, тем меньшему риску он подвержен, то есть, тем меньше вероятность того, что он создаст слабые или призрачные творения. Разве над ним не господствует алчность, зависть и тщеславие? И не упрекать его за это надо, а воздавать хвалу; в кого бы превратился человек, начисто лишённый страстей? В ничто, на худой конец в чистого духа или в ангела; но ведь ангел, по определению, бесплоден, как и свет, в лоне которого он обитает и который ничего не способен породить без тёмного хтонического начала, пропитавшего собой все формы жизни. В этом отношении бог более удачлив, ибо свет в нём смешан с тьмой: без

несовершенства, побуждающего его к динамизму, он пребывал бы в состоянии паралича, неспособный на ту роль, которая нам о нём известна. Ведь даже своему бытию он обязан тьме. Ничто подлинное и плодотворное не является совершенно-незапятнанным или безупречно-добродетельным. Сказать о поэте, в связи с той или иной его слабостью, что она тёмным пятном ложится на его светлый гений, — значит не иметь никакого понятия о тайных пружинах, если не его таланта, то, по крайней мере, его «вдохновения». Любое творение, каким бы высоким уровнем оно ни обладало, растёт из «нечистой реальности» и несёт на себе её неизгладимую печать; ничто не создается в абсолютной пустоте. Узники человеческого мира, если мы бежим из его плена, то какой смысл тогда имеет творчество, а, главное, для кого? Чем больше в нас нуждается человек, тем меньше нас интересуют люди; тем не менее, их оценки и мнения приводят нас в возбуждение, заставляя нас суетиться, что свидетельствует об огромной власти, которой обладает похвала, причем не только над умами вульгарными, но и весьма утонченными. Было бы неверно думать, что она не оказывает никакого влияния на одинокого человека; в действительности он подвержен лести намного больше, чем обычно об этом думают, ибо, не будучи чувствительным к её ядовитым чарам, он не умеет от них защититься. Какое бы сильное отвращение он не испытывал к миру людей, он не может полностью разорвать с ними своих связей; а так как ему недостает опыта лицедейства, то он лишен и эффективного противоядия похвале; когда он появляется в обществе, то легко делается добычей самой гнусной и бесстыдной лести. Он может быть искушенным во многих вещах, но в этой сфере он — неопытный новичок. К этому надо добавить, что любой комплимент воздействует чисто физически, вызывая в нас восхитительный холодок, который никто не в состоянии пресечь или обуздать, за исключением того, кто выработал в себе самоконтроль в результате длительного общения с пройдохами или плутами. Ни недоверие, ни презрение не имеют достаточного иммунитета против эффекта похвалы; питая недоверие или презрение к имяреку, мы, тем не менее, с благосклонностью внимаем его благоприятным о нас суждениям и готовы изменить наше мнение о лстеце, если его похвалы покажутся нам слишком лирическими или преувеличенными, чтобы быть оправданными как непреднамеренное и искреннее признание наших заслуг. На первый взгляд может показаться, что все люди довольны собой, но в действительности — это далеко не так. Следует ли воздавать похвалы друзьям и врагам, лстить всем смертным и, во имя милосердия, благословлять каждую их экстравагантность? Сомнение до такой степени разъяло души людей, что они вынуждены изобрести любовь — молчаливое согласие двух, направленное на взаимную переоценку и бессовестное восхваление друг друга. Если не принимать в расчет дураков, то невозможно отыскать того, кто был бы безразличен к похвале или к хуле. Что нам делать среди наших ближних, если мы перестанем реагировать на наживку их лести? С одной стороны, унизибельно воспринимать лесть тем способом, каким это делают они, но с другой стороны, очень трудно возвыситься над всей той убогостью, которая их заполняет и угнетает. Быть человеком — это не выход, а не быть им — значит оказаться в ещё большем тупике.

Отлёт от мира чинит помехи нашей воли к самореализации, к преодолению и подавлению воли других. Несчастье ангела состоит в том, что ему запрещена борьба как средство доступа к славе: он родился в ней, он изначально ей причастен, он купается

в её лучах. Казалось бы, чего большего он мог бы себе пожелать? Но он лишён средств для изобретения желаний. Если производить и существовать — действия неотделимые друг от друга, то нет более прозрачной и безутешной жизни, чем жизнь ангела.

Играть в уединение, если ты к этому не предназначен, очень опасно: ты рискуешь утратить в нём нечто большее, чем стимулирующий недостаток, необходимый для работы. Отречься от первобытного человека, обитающего в нас, — значит опустошить наши внутренние ресурсы, погрузиться в пучину стерильной чистоты. Без опоры на наше наследие, на присущую только нам порочность дух обречен на застой. Горе тому, кто не приносит в жертву своё спасение!

Поскольку всё значимое, великое и необычное растёт из жажды славы, то что может произойти, если она ослабнет или угаснет, и мы начнем испытывать чувство стыда за свое желание отличиться и выделиться среди других? Чтобы понять всю важность стремления к славе, вообразим себе нейтрализацию наших инстинктов. Мы живем, но жизнь не имеет для нас никакого значения: утрачен интерес к самоутверждению; истина и ложь — пустые звуки, предназначенные для взаимного обмана и не более того. Как узнать, что есть, а чего нет, если мы перешли грань иерархии видимости? Наши потребности и желания уравнивают нас друг с другом, мы утрачиваем свои мечты, словно кто-то другой мечтает за нас. Даже наш страх — уже не наш, но не потому, что он уменьшается, — напротив, он скорее увеличивается, — а потому, что он перестает нас волновать, предоставленный самому себе, свободный и высокомерный, он ведет автономное от нас существование; мы служим лишь опорой, местом, дающим ему приют: вот что мы из себя представляем. Страх живет отдельно от нас, он играет и резвится, не отдавая нам в том никакого отчета. Не в силах рассердиться, мы отдаемся на милость его прихотей; мы так же мало нарушаем его покой, как и он — наш; смущенные и сбитые с толку, мы превращаемся в зрителей его спектакля.

Если мы мысленно проделаем путь, обратный тому, который проделала жизнь, чтобы подняться к её истокам, то, восходя вверх по течению истории, мы сможем добраться до её начала и даже заглянуть за её пределы. Этот обратный ход необходим тому, кто, освободившись от тирании мнений, уже не принадлежит ни к какой эпохе. Стремление отвечать чужим ожиданиям может быть вполне оправданным; но если нет никого, перед кем надо быть кем-то, то зачем вообще обременять себя бытием?

В начале одержимые желанием вписать свое имя в летопись истории, мы затем впадаем в другую крайность: хотим, чтобы оно было изгнано отовсюду и исчезло без следа. Как наше самоутверждение не знает границ, так и наше желание ступешаться не ведаёт пределов. Возвысив волю к отречению до степени героизма, мы употребляем всю свою энергию на то, чтобы стать безымянным, стремимся стереть все отпечатки, оставленные нашими следами, хотим разрушить само упоминание о своем существовании. Мы ненавидим всякого, кто приближается к нам, чего-то прося или ожидая от нас. Единственное, на что мы способны — это обмануть их ожидания. Во всяком случае, они неспособны понять наше желание задержаться на пороге сознания и не идти в его глубину,жаться в бездне первоначального безмолвия, в тиши невнятного блаженства, в сладостном оцепенении, в котором пребывало творение до наступления скандала, вызванного словом. Эта потребность спрятаться, укрыться от света, это желание быть последним во



всём, эти припадки скромности, когда, соперничая с кротом, мы обвиняем его в эксгибиционизме, эта тоска по нерождённому, непоименованному суть способы ликвидации достижения эволюции, средство обретения, путём скачка назад, мгновения, предшествовавшего толчку становления.

Когда человек превращает анонимность в возвышенную идею, с презрением взирая на слово «актуальный», то ему кажется, что он на самом деле погружается в состояние анонимности: «всю свою жизнь я жертвовал своим покоем, интересом и счастьем ради собственной фортуны». Он с удовольствием вспоминает ожесточённость своего антипода, который, чтобы не оставить следов, ориентировался на подавление своей самобытности, на искоренение собственного я. Его желание быть незамеченным столь велико, что он превращает Незначительность в систему, в божество, перед которым преклоняет свои колени. Не жить ни для кого, прожить так, как будто и не жил, искоренить какой бы то ни было намёк на событие, не гордиться никаким чином, никаким мгновением, навеки отречься! Быть свободным — значит прекратить поиски удачи, отказаться войти в сонм избранных или изгнанных; быть свободным — значит попытаться стать никем.

Кто выжал из себя всё, на что он способен, тот являет собой зрелище более печальное, нежели тот, кто, не желая отличаться, умирает вместе со своими реальными или потенциальными дарованиями, со своими нереализованными способностями и невыявленными заслугами: карьера, которую он мог бы совершить, реализовав свои невоплощенные возможности, льстит нашему воображению; словом, он ещё продолжает жить, тогда как тот, кто почитает на лаврах своих растраченных успехов, напоминает скорее труп. Нас больше интересует тот, кто по душевной слабости или по избытку шепетильности откладывает момент принятия решения о выходе в свет собственной славы. Его превосходство над другими состоит в понимании того, что никто не реализует себя безнаказанно и что нужно платить за всё то, что прибавляется к чистому факту бытия. Природа питает отвращение к талантам, которые приобретены за её счёт; она презирает даже те из них, которые принесли нам освобождение и которые мы немилосердно эксплуатируем; она наказывает за усердие — путь, ведущий к гибели, — и предупреждает, что усилие, направленное на приобретение известности, не пройдёт для нас даром. Что может быть печальнее избытка добродетелей или нагромождения заслуг? Не дадим в обиду наши недостатки, будем помнить, что люди скорее умрут от излишка добродетелей, чем от избытка пороков!

Считать себя известным богу, искать общения с ним, искать его похвал, презирать любые мнения, кроме тех, которые исходят от него лично, какая это самонадеянность и какая это сила! Ничто кроме религии не может дать удовлетворение как нашим добрым, так и злым наклонностям.

Человек, не знающий никакого «царства небесного», и обездоленный, у которого имеется одна только вера, кому из них ведомо большее блаженство? Нельзя ставить на одну и ту же чашу весов идею, которую имеет о нас бог, и представление, которое имеют о нас наши ближние. Без воли быть услышанным там наверху и без веры в достижение славы здесь внизу не было бы молитвы. Кто хоть один раз в жизни творил молитву, тот с избытком изведал славы. Какой другой успех может с ней сравниться? Достигнув вершины своего восхождения, выполнив

свою миссию здесь внизу, он сможет спокойно почитать остаток своих дней.

Привилегию быть известным богу некоторые считают чем-то маловажным. Во всяком случае, именно так думал наш прародитель, который, устав от пассивной известности, вбил себе в голову идею навязать её другим созданиям и даже самому творцу, которому он завидовал, но не столько его мудрости, сколько его великолепию, парадности и мишуре. Недовольный второстепенной ролью, подстёгиваемый жаждой славы, он ввязался в серию бесплодных авантюр, другими словами, вляпался в историю, но не для того, чтобы вытеснить собой бога, а для того, чтобы затмить его своим блеском.

Фат — вот кто лучше других может нам помочь, если мы хотим углубиться в познание самих себя: он ведёт себя так, как вели бы себя и мы, если бы нас не сдерживали остатки робости и стыда; он говорит громко и во всеулышанье о том, о чём думает, и не стесняется провозглашать свои заслуги, тогда как мы, лишённые смелости, обречены на молчание или, в лучшем случае, тихо о них шепчем. Слушая вдохновенные разглагольствования о его «славных» деяниях, ты пугаешься собственной мысли: ведь тебе не хватает пустяка, чтобы осмелиться сделать то же самое.

Поскольку он претендует быть выше всех, но не украдкой, а во всеулышанье, то у него нет резона играть роль непризнанного гения или изображать из себя отвергнутого святого. Так как никто не хочет выяснять, что он из себя представляет и чего на самом деле стоит, то он занимается этим самолично. Нет никаких ограничений, намеков или оттенков в его суждениях на собственный счёт. Он преисполнен удовлетворения считать себя обладателем того, чего домогаются и все остальные и чем реально располагают лишь немногие.

Напротив, тот, кто не осмеливается воздать хвалу собственным заслугам и талантам, заслуживает сожаления. Он хранит презрение к тем, кто не обращает на них внимание и презирает себя за неумение похвалиться или выставить себя напоказ. Какое облегчение почувствовали бы смертные, если бы были разрушены все барьеры предрассудков, устранена нетерпимость к хвастовству и в качестве обязательной процедуры введена фанфаронада. Если бы мы были в состоянии открыто провозглашать всё то, что о себе думаем или в любой момент могли бы прибегнуть к услугам льстеца, то психиатры лишились бы своих пациентов. Как бы ни был счастлив фанфарон, его радость, однако, имеет единственный изъян: он не всегда может встретить того, кто готов его выслушать; а потому лучше вообще не думать о том, как он будет себя чувствовать тогда, когда на него будет наложена санкция, которая обречет его на безмолвие.

Как бы мы ни были поглощены самими собой, мы постоянно ощущаем в себе тоскливое беспокойство, от которого никогда не сумеем избавиться, разве что камни из жалости к нашим страданиям начнут воздавать нам хвалу. Если мы будем упорствовать в своей немоте, то нам ничего не останется другого, как терзаться невысказанными муками или захлебываться в собственной желчи.

Если стремление к славе принимает каждый раз всё более конвульсивные формы, то происходит это потому, что она заменила собой веру в бессмертие. Исчезновение этой старой и испытанной мишеры вызвало не только путаницу, но и породило надежду, замешанную на исступлении. Никто не может обойтись без призрака вечности, а ещё менее отказаться от его поиска под разными респектабельными личинами,

включая и литературную. С тех пор как обнаружилось, что смерть означает абсолютный конец, все ударились в писательство. Отсюда — идолопоклонство перед успехом и рабское заискивание перед публикой — этой слепой и губительной силы, бича века, бесчеловечной разновидности Рока.

Слава может рассчитывать на успех лишь тогда, когда она развёртывается на фоне вечности, но на какой успех она может рассчитывать там, где господствует время и где, к довершению несчастья, даже время находится под угрозой? Мы воспринимаем время как некую очевидность, которая уже не доставляет нам ни радости, ни огорчения. Если время, как нечто универсально-хрупкое, повергало в смущение умы древних, то мы с лёгким сердцем хватаемся за достоверность ненадёжной и преходящей известности. Добавим к сказанному, что, если в те времена, когда человек ещё не был общим местом, он мог иметь какой-то интерес быть кем-то, то сегодня этот интерес оказался обесцененным. На чьё одобрение можно надеяться на планете, переполненной человеческой плотью, если выхолощена сама идея ближнего; и как можно любить человеческую массу оптом или в розницу? Желание выделиться в массе — это уже симптом духовной смерти. Ужас перед славой произведен от ужаса перед людьми: взаимозаменяемые, они одной своей численностью оправдывают испытываемое к ним отвращение. Недалёк тот день, когда надо будет ждать прихода благодати, чтобы иметь право, если не на любовь к ним, что в принципе невозможно, то хотя бы на то, чтобы выдержать их взгляд. В те времена, когда чума — этот бич божий — опустошала города, оставшиеся в живых по справедливости внушали к себе некоторое уважение: они пребывали ещё в бытии. Сегодня уже нет подобных существ, а есть множество умирающих стариков, внушающих к себе презрение тем, как они умеют обставить свою агонию. Мы предпочитаем человеку любое животное, хотя бы потому, что оно преследуется разрушителем и осквернителем ландшафта, облагороженного в старину присутствием зверей. Рай — это отсутствие человека. Чем сознательнее мы становимся, тем менее склонны простить проступок Адама. Спрашивается, ну чего ещё он мог бы себе пожелать, как не окружение животных? Как он не мог предвидеть счастья ежечасно не сталкиваться с этим благородным проклятием, написанным на наших лицах? Безмятежность немислима без исчезновения нашей расы, а потому в ожидании конца перестанем терзаться пустяками и направим наш взор на то в нас, к чему никто не имеет доступа. Изменив перспективу видения предметов и вступив в конфронтацию с нашим скрытым одиночеством, мы обнаружим, что подлинная реальность существует лишь внутри нас, а всё остальное — не более чем видимость. Кто владеет этой истиной, что другие могут предложить ему такого, чем он бы уже не владел, и что они могут отнять у него такого, что могло бы причинить ему серьёзное огорчение? Нет освобождения без победы над стыдом и страхом стыда. Победитель видимостей, навсегда расставшийся со своими соблазнами, должен стать выше не только почестей, но и самой чести. Не обращая никакого внимания на презрение своих ближних, он сумеет явить им свирепость развенчанного бога...

Какой наступает покой тогда, когда человек ощущает, что ни похвалы, ни упреки не имеют над ним никакой власти и нет нужды изображать хорошую мину при плохой игре. Правда, странное облегчение вскоре сменяется чувством подавленности, освобождение превращается в недомогание.

Как бы мы далеко ни заходили в своём отчуждении от славы, мы не можем сказать: находимся ли мы ещё под её властью или уже больше к ней нечувствительны? Скорее всего, мы скрываем это желание, и оно продолжает нас мучить. Мы способны одержать над ним верх в момент полного изнеможения своих сил, когда ни живые, ни мёртвые не признали бы нас за одного из своих... Что касается других эмоциональных состояний, то дело тут обстоит не так просто: пока в человеке теплится желание, он будет, пусть и неявно, искать себе славу. Мы изо всех сил домогаемся славы, ибо жажда последней способна пережить все другие наши желания. Кто в полной мере отведал её вкуса, кто достаточно упился ею, тот никогда уже не сможет оставаться к ней равнодушным, тогда как невозможность обладать ею неизбежно приводит к отуплению, отчаянию или надменности. Чем больше выходят наружу наши недостатки, тем большую значимость она приобретает над нами, тем сильнее она влечёт нас к себе; наша пустота нуждается в ней, и когда она не отвечает на наш зов, то мы соглашаемся на её эрзац, то бишь, на известность. В той мере, в какой мы стремимся к славе, мы вращаемся в её порочном круге: хотим победить время посредством времени, длиться в преходящем, достигнуть нерушимого в потоке истории и, как верх гротеска, аплодируем тому, кого мы презираем. Наше несчастье заключается в том, что мы не нашли ничего, что позволило бы нам компенсировать утрату вечности, кроме этого обмана, кроме этого печального наваждения, от которого избавится лишь тот, кто сможет раствориться в бытии. Но кто может раствориться в бытии? Человек на то он и человек, что не способен пойти на это.

Верить в историю — значит страстно желать возможного, утверждать превосходство неизбежного над настоящим, верить в то, что становление само по себе является достаточным, чтобы заменить собой вечность. Если мы перестанем верить в становление, то любое событие утратит для нас всякий смысл. Нас интересует не столько время, сколько крайние его точки и даже не столько его исток, сколько его конец, его осуществление, то, что наступит потом, когда вслед за утолением жажды славы исчезнет желание, и когда человек, освободившись от импульса, толкавшего его вперёд и покончив со всякой авантюрой, увидит зарю новой эры — эры исчезновения желания.

Если нам заповедан возврат к первоначальной невинности, то никто не может запретить нам вообразить себе другую невинность и попробовать её осуществить с помощью познания, свободного от извращения и изъятий, преобразованного и «раскаившегося». Подобная метаморфоза была бы равнозначна завоеванию второй невинности, которая, пройдя через тысячелетия сомнения, обладает тем преимуществом, что не поддается на наживку престижа (уже изрядно подмоченного), подброшенного когда-то Змеей. Отделение познания от грехопадения, составляющее условие, при котором никто не возгордится мудростью, избавит агрессивную несдержанность духа от какого бы то ни было демонического удовольствия. Мы будем вести себя так, как будто не нарушали никакого таинства и взирать на все наши предприятия издалека, если не сказать с презрением. Речь идет о том, чтобы заново начать Познание, иначе говоря, построить другую историю, не обременённую древним проклятием, в которой нам была бы предоставлена возможность вновь обрести эту божественную мету, которой мы были помечены до разрыва с остальными тварями. Мы не можем жить с чувством всеобщей вины, с клеймом позора,

который тяготеет над каждым нашим поступком. Именно наша испорченность заставляет нас выйти за собственные пределы, именно она побуждает нас к эффективности и плодотворности; та поспешность, с какой мы хватаемся за труд, полностью нас изобличает. Если наши деяния обличают нас, то не от того ли это, что они продиктованы необходимостью замаскировать наше грехопадение, обмануть другого, а ещё больше обмануть самих себя. Деяние запятнано первородным грехом; от него свободно, кажется, только бытие. А поскольку все наши поступки вызваны утратой невинности, то только на пути отречения от деяния и презрения к себе мы можем вернуть её обратно.

### АФОРИЗМЫ ИЗ КНИГИ

#### «О НЕПРИЛИЧИИ БЫТЬ РОЖДЕННЫМ»

Никто не заявляет о том, что он свободен и здоров, хотя именно это и должен делать тот, кто наслаждается этим двойным благом. Ничто нас так не выдает, как наша неспособность предаваться ликованию по поводу собственной удачи.

Не стоит долго распространяться насчёт того, что смерть есть то лучшее, что дала нам Природа, чтобы принести всем нам успокоение. Когда мы умираем, то всё прекращается, всё навеки исчезает. Какое это счастье и какой это обман! Без всякого усилия с нашей стороны мы обретаем весь мир, мы тянем его вслед за собой в могилу. Решительно: смерть — это аморальный поступок.

Проблема ответственности имела бы смысл в том случае, если бы с нами ещё до нашего рождения посоветовались и получили бы от нас согласие стать именно тем, кем мы и являемся.

Если извне в любом клане, секте или партии царит гармония, то изнутри — раздор. Конфликты в монастырях случаются так же часто и носят столь же ожесточённый характер, как и в любом другом сообществе. Даже тогда, когда совершают побег из ада, то, убегая, имеют намерение восстановить его в другом месте.

Предвиденная беда, когда она наступает, переносится в десятки, в сотни раз труднее, чем непредвиденное несчастье. Предвидя угрожающую нам опасность, мы заранее предаемся скорби, а когда беда, наконец, к нам приходит, то прошлые переживания, накладываясь на настоящие, сливаются в одну нестерпимо-тягостную муку.

В любых обстоятельствах следует держать сторону угнетённых, даже тогда, когда они ошибаются, не выпуская из виду при этом, что они, как и их угнетатели, сделаны из одного и того же теста.

Никакой абсолютный монарх не располагает властью, сравнимой с властью бедного неудачника, который задумал покончить с собой.

С пороками жить намного легче, чем с добродетелями. Сговорчивые по своей природе, пороки помогают друг другу, а кроме того они снисходительны к чужим слабостям; напротив, неуступчивые добродетели воюют между собой и стремятся уничтожить друг с друга, демонстрируя взаимную нетерпимость.

Существование сделалось бы делом совершенно безнадежным, если бы мы перестали придавать какое-либо значение тому, что никакого значения не имеет.

Жизнь — это ничто; смерть — это всё. Тем не менее никакая смерть не является независимой от жизни. Именно отсутствие автономии делает смерть всеобщей: у неё нет собственного удела, она вездесуща, как и всё то, что лишено аутентичности, границы и благопристойности — бесстыжая бесконечность.

Иногда хочется стать людоедом, но не столько

ради наслаждения проглотить кого-нибудь, сколько ради удовольствия изрыгнуть его.

Бог — это болезнь, от которой мы считаем себя исцелёнными, ибо никто уже от неё не умирает.

«После меня — хоть потоп» — таков девиз каждого из нас: мы готовы допустить, что другие нас переживут, но мы также льстим себя надеждой на то, что они будут за это наказаны.

Смерть — это утешение тому, кто обладал вкусом и тактом переносить поражение, это вознаграждение тому, кто ничего не достиг и ничего не должен был достичь... Она — его оправдание, она — его победа. И напротив, для того, кто боролся за успех, кто достиг удачи, какое это разочарование, какая это пощечина.

Первый шаг на пути к святости состоит в том, чтобы любить навязчивых коллег и терпеть непрошенных гостей.

Перевод М. А. МАЛЫШЕВА.